

Владимир Даль Сказки

СКАЗКА О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ УДАЛОЙ ГОЛОВЕ, БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, СПРОСТА БЕЗ ПРОЗВИЩА[*]

Милым сестрам моим Павле и Александре

Сказка из походов слагается, присказками красуется, необычными минувшими отзывается, за бытиями будничными не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов придворных, про Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, не по нутру, не по нраву - тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на баклуши заморские, не видать ему стороны затейливой, как ушей своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона Золотого Кошеля, ни чудес невероятных, Иваном Молодым Сержантом создаваемых! А мы, люди темные, не за большим гоняемся, сказками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке на всякого плясуна по погудке, про куму Соломону страсти-напасти, про нас со сватом смехи-потехи!

В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесатым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержанта, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своем к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить: "За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живем не по-холопы, хлебом-солью, пивом-медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского".

Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет - не парит, переломит - не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстреленного сокола и ворона носом долбит; свались только с ног, а за тычками дело не станет? Бился, бился наш Иван - какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело сделать, бежать из службы царской - земля государева не клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам - сто; а поймут - воля божья, суд царев; хуже худова не бывает, а здесь несдобровать. Выждал он ночь потемнее, собрался и пошел куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!

Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал, о том ни слова, но и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не сговоришь! Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь!

Не успел выйти Иван наш на первый перекресток, видит-встречает, глазам своим молодец-

ким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою: кто он таков, куда и зачем идет или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью? "Не торопись к худу Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища, - продолжала она, - а держись блага дослушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днем наружу грех твой, пропадет за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всем в изобилии, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге-реке разгуливать; кто служит, тот и тужит; ложку меду, бочку дегтю - не съешь горького, не поешь и сладкого; не смазав дегтем, не поедешь и по брагу! Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, вод оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь - так скажи, а не любишь - откажи! Запрос в карман не лезет".

Есть притча короче носа птичья: жениться - не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходится! И истинно; жена не гусли:

поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу, приглядись, приновись, а потом женись; примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не ездит! - Все это и справедливо и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь! Так и тут случилось; капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку девице Катерине - вот то-то свахи наши ахнут: что за некрещеная земля. где сговор мог состояться без них!!! - подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное даровое-заветное, дарующее силу и крепость и нессякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идет - не идет, летит - не летит, а до заутрени мугилились они в первопрестольном граде своем, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми .супругами.

И вдруг, отколе что взялось, пошла Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову. и предложили они единодушно царю, чтобы Иван Молодой Сержант по крайней мере заслужил службою милость царскую, показал бы на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро вычистился, белье натер человечьим мясом¹, брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил - словом, снарядился, как на ординарцы, и явился ко двору. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить. "Рад. стараться", - отвечал Иван. "Чтобы ты мне, - продолжал царь, - за один день, за одну ночь, и всего за одни сутки, сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдёт снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!"

Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без рода, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришел, горемычный, домой. "О чем тужишь-горю ешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь?" - так спросила его благоверная супруга девица Катерина. "Всевозлюбленная и распрекрасная дражайшая сожительница моя, - держал ответ Иван Молодой Сержант, - не бесчести в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца! Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушающая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь, и всего-то русским счетом за одни сутки, счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы; сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!" - "Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, дражайший сожитель и супруг мой! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты

¹ Белье у солдата что белится, белая кожаная амуниция. Белят ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою. (Прим. автора.)

спать, утро вечера мудренее, завтра встанем да, умывшись и помолившись, подумаем", - . так рек-ла прекрасная Катерина; напоила, накормила его, и спать положила, и прибаюкивала песенкою:

За лесами, за горами горы да леса,
А за теми за лесами лес да гора
А за тою за горою горы да леса,
А за теми за лесами трын да трава;
Там луга заповедным диким лесом поросли,
И древа в том лесу стоеросовые,
На них шишки простые, не кокосовые!

Сожитель лег, зевнул, заснул - а Катерина вышла за ворота тесовые на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвила: "Ах вы, любезные мои повытчики, батюшкины посольщики, нашему делу помощники, пожалуйста сюда!" И тотчас, отколе ни возьмись, старик идет, клюкой подпирается, на нем шапка мотается, головой кивает, бородой след замечает; стал и послушно от повелительницы приказания ожидает. "Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра: сколько в трех больших амбарах государевых счетом зерен?" "Ах, любезная наша повелительница, дочь родная-кровная вашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди"; сам как свистнет да гаркнет на своих на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма-тьмущая что твоя туча громовая, черная! Как принялись за работу, за расчет, не довольно по горсти - по зерну на каждого не досталось!

Еще черти на кулачки не бились, наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отряхает, беду неминуемую, смерть верную ожидает- Вдруг подходит к нему супруга его благоверная, сожительница Катерина, грамоту харатейную, расчет верный зернам пшеничным подносит. А века тогда были темные, грамоте скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было, - церковными буквами под титлами и ключами числа несметные нагорожены: азы прописные - красные, узорчатые, строчные - черные, буднишные, - кто им даст толку? Да и не поверять же стать! Ни свет ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, тело его всесожжению предали и прах от востока до заката развеяли. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. А царедворцы его - кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной с высокоу, да без намеку; тот с виду орел, да умом тетерев, личиком беленок, да умом простенок, хоть и не книжен, да хорошо острижен; а которые посмышленнее. так все плуты наголо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут - только хлеб жуют, едят - небо копят! Они повелели именем Дадона собрать всех счетчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и поверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебрали жалованья, каждый тысяч по несколько, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу и решили наконец единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную харатейную отдать на сохранение в приличное книгохранилище и передавать из рода в род позднему потомству яко достопамятность просвещенного века великоименитого, великодаровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля; что же именно касается выкладки счета сего, то оно действительно может быть гак, а может быть и не так; а потому не благоугодно ли будет вышепоименованному Ивану Молодому Сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему под сомнением, побелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим тщанием и рачением? Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу" по звезде на пуговицу, по банту за спину.

А службу опять загадали Ивану безделицу: в один день, в одну ночь, всего-то русским счетом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы канаву, сто сажень глубины, сто сажень ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту - любить и золотом дарить; если нет -

так казнить, голову рубить!

Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть! Разорвись наш брат надвое, скажут: две ноги, две руки, почему не начетверо? Подгорюнился, пришел домой, судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает; попало зернышко под жернов, быть ему смолоту; с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина, спросив и узнав кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему: это ни служба, а службишка, а служба будет впереди; положила спать, убаюкала тою же песнью, вышла и накликала вещуна-чародея. Идет, головой кивает, бородой след замает; как свистнет да топнет на своих на приказчиков - ночи тьму затмили; а за работу принялись, так не только по горсти земли - по зерну, по одной песчинке на брата не досталось!

С рассветом дня царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюшие и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова, в легком ночном уборе, в валентиновом халате, с парламентаром на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в три аванжа на балахон и старался усмотреть в подозрительную трубу подступающего неприятеля. Когда же дело все обнаружилось, то Иван за страх, причиненный царю Дадону, царедворцам его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу; губернатора графа Чихиря сделали комендантом новой крепости; фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек; у прежнего же высокого совета арифметчиков, блажные памяти, отобраны все знаки отличия, ордена, ленты и звезды; за нехитро придуманную, площадную, Иванов нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и постановления их, да и сами они, несостоятельными, и сосланы они на теплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашел все новые укрепления со всеми угожьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чихирю все знаки отличий, коими пользовался, блажные памяти, верховный совет его.

Между тем у новых советников царских мало-помалу умишко поразгулялся, и они придумали-пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что от радости приказали поднести себе по кружке меду, закусили муромским калачом, ростовским каплуном и нежинским свежепросольным огурчиком, и понесли, убоясь грамоты, речи свои царю на доклад. Да и хитро же придумали! Дурак камень в воду закинет, дурак узел завяжет, семеро умных камня не вытащат из воды, узла не развяжут! Ивану нашему велели службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы - народ деловой; два брата на медведя, два свата на кисель; из лука не мы, из пищали не мы, а поесть, поплясать - против нас не сыскать!

"Ох ты гой еси, добрый молодец, Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора, - вспомнил теперь Иван наш колыбельную песенку супруги своей! Придешь ты в тридешатое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу; в роще заповедной стоит терем золоченый, в тереме золоченом живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси царю, царевичам, и царедворцам, и наперсникам их играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы все это было сделано в одни сутки! Исполнишь - хорошо; а нет, так третий и последний тебе срок - шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе, и с головою, в ноги покатится!"

Уповая на благоверную сожительницу свою, прекрасную Катерину, и на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал; но когда он пересказал сожительнице загаданную ему службу, тогда получил в ответ: "Вселюбезнейший и дражайший супруг мой и сожитель Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, Удалая ты Голова! Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, и должно тебе служить ее самому; не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе, бедствующему, руку помощи"; а за сим она его снарядила и в поход отпустила, как с судьбою, с случаями путем-дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила: "Паси денежку про черный день; платком этим не иначе как в самой сущей крайно-

сти и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби! Не пренебрегай бездельным подарком моим: не велика мышка, да зубок остер, не велик сверчок, да звонко поет, - часом и лычко послужит ремешком!" Сели, подали хлеб-соль на прощанье, помолились богу - и вошел наш Иван, куда кривая не вынесет!

И кто бы благодерзновенный покусился сподвизаться на такие чудные и неслыханные похождения! Но плетью обуха не перешибешь - когда посылают, так идти; не положить же им, здорово живешь, голову на плаху; смерть не свой брат, хоть жить и тошно, а умирать тошнее; ретивый парень лучше пойдет проведать счастья молодецкого на чужбине, чем ему умирать бесславно на родине!

Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод и много бедствий различных переносит; бог вымочит, бог и высушит; потерял он счет дням и ночам. "Светишь, да не греешь, - подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну, - только напрасно у бога хлеб ешь". И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый, такой, что света божьего невзвидел; пень на пне, то лбом, то затылком притыкается - устал хоть на убой! Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут. Поднял он лычко подвязать голенище - горе лыком подпоясано! Вынул платочек даровой заветной супруги-сожительницы - вдруг его как на ходули подняло! Отозвалось лычко ремешком! На нем сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, полюбоваться рысью своею, и уже все вокруг него зазеленелось: зашел он из белой матушки зимы в цветущую благоуханную весну; и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозеленую, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатен опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столпы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают, окны цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают - ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора; без забора, без запора, говорится, не уйдешь от вора, а тут все цело, исправно, видно некому и воровать! Обошел капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон - всюду то же, и входа нет! Смелость города берет, а за смелого бог; без отваги нет и браги; не быв звонарем, не быть и пономарем! Стуж, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалей, в терем золоченый, да и ахнул! Хороша куропатка перьями, а лучше мясом; здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сказать, ниже в сказке сказать! А палаты огромные пусты; никто на зов Ивана Молодого Сержанта не откликается; нет ответа, нет приветов. Ходил, ходил Иван наш, выходил во всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик луженый. Выпил он на усталость крючок, за здравие благоверной сожительницы своей другой, за упокой клеветников и доносчиков своих третий - разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один как перст. похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую? "Растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая" - во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает: "Ох ты гой еси, добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?" - "Я Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный, Удалая Голова, витязь бездомный и бесконный; служил я верно богу и некрещеному царю своему в земле, что за триста конных миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили Милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали.; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую - не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: "Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лее, а за тем лесом опять гора; придешь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную; стоит там терем золотой, в тереме том живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою за-

бавляться!"

Отозвался невидимка снова: "Кого ищешь, Иван Молодой Сержант, того нашел. Зовут меня Котыше" Нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золоченом. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то вздремнешь, так голову; как с воробья, сорву! До слова крепись, а за слово держись; попятышься - раком назовут!"

"Полез по горло, - подумал Иван, - лезть и по уши уже теперь не воротиться же стать". Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день. светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван головой, задремал. А Котыш Нахал толк его под бок: "Ты спишь, Иван?" - "Ох, спать, я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думаю". - "А какую же ты думаешь думу?" - "А думаю я, глядя в окно, множество несметное растет по свету белому лесу разнокалиберного - а какого более растет, кривого или прямого? Чай, кривого больше". Котыш Нахал призадумался. "Погоди, говорит, постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю". Пошел; а капрал наш тем часом залег да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш - не долог час на аршин, да дорог улочкою, - а Иван поспал изрядно; он, солдат, спит скоро; бывало, под туркою, походя наестся, стоя выспится. "Вставай, Иван, - закричал Котыш, - твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что на числа положить, так русским счетом и не выговоришь Зажигай-ка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!" Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой - опять песня та же; крепился, крепился - задремал! А Котыш его толк в ребро: "Спишь? говорит. "Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думаю!" - "А какую же ты думаешь думу?" - "А думаю я: несметное множество людей на свете у бога да у земных царей, а мало ли было, да перемерло? Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай, мертвых больше!" Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с неделей без семи дней, по-ихнему без году год со днем, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лег, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул. "Вставай, капрал! Пора за работу, а правда твоя, мертвых людей больше; живых без четверти с седьмой три осьмины, а остальные все мертвые!"

Светит Иван опять ночь со днем, перемеряет и другую, а до третьей стало доходить - вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул! Толкнул его Котыш в ребро: "Спишь, Иван?" А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: виноват! К пиву едется, а к слову молвится: авось, небось да как-нибудь, а если, на беду, концы с концами Не сойдутся: виноват! Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют, да, видно, все еще мало; неймется? "Из твоей вины, - молвил Котыш Нахал, - не рукавицы шить, не сапоги тачать. а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминуемая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на маю заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, яростнее, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья, сорву! Охота хуже неволя; ты же сам обрекся не живому, а смерти; слово сказано языком да губами, а держись за него зубами!"

Вышел Иван Молодой Сержант на лужайку заповедную вевнозеленую, вспомнил редину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горьки". Что рыбе погибать на суше и безводье, то добру молодцу умирать вчуже на безродье! Вынул Иван платочек заветный итальянский утереть в последний раз слезу молодецкую - а уж Котыш Нахал зовет его на расправу, под окном косятчатый сидя, в растворчатое глядя. Пришел к нему капрал наш, заживо мертвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. "Отколе ты взял платок этот?" - спросил у него Котыш Нахал, невидимка искони века. Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался. "Ладно, кума, лишь бы правда была, - отозвался Котыш. - Правду ли ты говоришь?" - "Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают, - отвечал служивый, - что сказано, то и свято; на солдатском слове хоть твердыни клади". - "Не долго думано, да хорошо сказано, - молвил Котыш. - Если так, то ты бы мне давно это сказал - стало быть, ты женат на дочери моей прекрасной девице Катерине, в ты о" завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров и невредим и свободен от всякой пени, во и должен получить в приданое собственные "он гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые в было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей прекрасной девицы Катерины. Для малого дружка и се-

режку из ушка!" Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил - заиграли, заплясала, песни чудные завели, - а Иван лыжи наострил да направил восвояси; шагает, как жар-птица летает, домой торопится-поспешает. Шел он оттуда високосный год без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не успеть ему и назад в сутки! Стоит над путем-дорогой избушка-домоседка, распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не допускают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесной, а он тем часом обошел кругом, да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полаты за печь кидает. Это был вещун-чародей, служивший на Ивана по повелению сожительницы его Катерины службы царские, но они друг друга не знавали и глаза. Старик принял радушно пришельца усталого. "Ляг, говорит, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец - за вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет!" Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана просить-выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и походов неимоверных, - а тот не взял добром, так взял всемером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. "Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? - спросил вещун-чародей. - Или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?" Иван подумал, да и отдал гусли; коротки ноги у миноги на небо лезть! Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на влаху? А был уже так близок великой цели своей! В раздумье играя булавой, стал он набалдашник золотой отвертывать. Отвернул - из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего, вылетает, в строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного, на скакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана Молодого Сержанта выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правую ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооруженные. Надел Иван набалдашник золотой - исчезло все, как не бывало; снял - опять здесь" и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами. Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые недоволю человек ни один не смел святотатными стопами своими попить, но на кои и птица мимолетная не садилась; снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: "За горами, за долами!" Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры и послал губернатора графа Чихиря Пяташную Голову осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идет Чихирь, узнал Ивана Молодого Сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивные-ругательные произносит: "Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!" Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого: схватили - не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим. "Нет, говорит, видно этот музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!" "Не ломайся, овсяник, не быть калачом", - сказал ему Иван; и этому была участь не завиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана Молодого Сержанта, поступивший ныне на место убылого, сосланного за три-девять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом: шел - не спотыкался, стал - не шатался, заговорил - не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без рода, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю

бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принес гусли-самогуды из рощи заповедной вечнойзеленой от Котыша Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. Царь Дадон Золотой Кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел в военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры, - но только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резчика с кистенями, с ножами бросились с остервенением ему навстречу: они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний испытал коварство царя Дадона Золотого Кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя кануть, - и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона Золотого Кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его. "Человеку нельзя же быть ангелом", - говорили они в оправдание свое. "Но не должно ему быть и дьяволом, - отвечал он им. - И Соломон и Давид согрешали - давидски согрешаете, да не давидски каетесь! Нет вам пардону!" И поделом: они все, по владыке своему, на один лад, на тот же покрой - все наголо бездельники; каков поп, таков и приход; куда дворяне, туда и миряне; куда иголка, туда и нитка.

Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина, - царевною; он был еще в цветущей молодости своей, да и она в отсутствие его не состарелась, ибо все невероятные похождения его с Котышем Нахалом и гуслиями самогудами действительно произошли в продолжении одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал, кротко и смиренно, милостиво и справедливо, пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратью своею несметною держал во страхе и повиновении врагов своих и был благословляем народам. Празднуя же восшествие свое и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильном ликовать народ три дня я три ночи без отдыха; вина заморские лились через край; яств, каких, только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многообразные, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ, со всех концов царства обширного собравшийся.

И я и сват Демьян там были, куму Соломону дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало, - кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь, кто нет - тому ни капли!

СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ И О ВОЕВОДСТВЕ И О ПРОЧЕМ; БЫЛА КОГДА-ТО БЫЛЬ, А НЫНЕ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ[*]]**

Карлу Христофоровичу Кнорре

Пробежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше, напрыгался, налагался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребая, притаился, казалось бы его уж и на свете нет - а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экий увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками во снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет - экий куцый проказник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? - И долго смеялись зайду, а заяц уж бог весть где! Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судья и воевода напроказил, нашалил, к скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой лапчатой; а русский народ, как известно всему свету, необразованный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку судью в поныне. Кто празднику рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспо-

мянет, что у свекрови на крестинах пономарь оскормился, так и в слезы; а в Суздале, сват Демьян, и на тризне, да хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломону удался, ни сказки ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана Рогоуховича и Бабарьки Подстегайловны лежит у меня под спудом; а присказка о косом и куцом зайце и сказка о суде Шемякином написана, к быту приноровлена и поговорками с ярмонки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому зерну себя борозда; на всех не угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, не на дворянскую голову шьется - а по мне да по свату куцое платье, французская булка на свет не родись! Нам подай зимою щи с пирогом; кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь кваску, да ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть - а затем проспи свата Демьяна не прогневаться, небылицами коренными русскими потешиться, позабавиться; у нас с ним. как у людей, выше лба уши не растут!

Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богат, а родись счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане - а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей немца иного - ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется-ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись нажать от него добра, да и оскормались. Не то беда, что растет лебеда, а То беды, как нет и лебеды!

Приходит к старосте Шемяке баба просить на парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатях, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла" а на беду тут у соседки на частокле горшки сушатся - понесла, да мимо горшков; он, как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!

Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила протори, убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила. - Где суд, там и расправа; мы проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!

Чтобы тебе быть дровосеком, да топорщица в глаза не видать, за такой суд, подумал сват Демьян; убил бобра. Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженный, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц, а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потоньше и поострее, на подобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертью. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха, конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!

Теперь еще пришла баба просить за мужика. Как квочки раскудахтались, сказал Шемяка, - визжать дело бабье! Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: продам я курицу, продам яйца, да куплю горшок молока; а я, примолвила баба сдуру, я хлеба накрошу. Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку, и вышиб у нее два зуба; а когда она спросила, зарыдав, за что. Так он отвечал ей; "Не квась молока". - Мужик с бабой Пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.

- Квасить молоко чужое не годится, - сказал Шемяка просительнице, - на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим

добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, господь с вами! тут и без вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня еще ни крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот - в голове, как толчея ходит; бьешься, бьешься как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!

За такие и иные подобные хитрые увертки и проделки нашего судьи правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке, Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечером Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а Челобитчиков, просителей, на крыльце широком, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе, и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать "Я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь, и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и отклинется; судить да рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вела и резник Обухом бьет, убей муху! А у меня, кто виноват, так виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!

А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: Ври на обед, да оставляй я на ужин! Ох-ты гой еси добрый молодец, судья правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича. Ни ухо ты ни рыло, ди с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто. ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перевалил; а где тонко, там, того и гляди, порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношенья. Ты богослов. да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперек" запряжешь и прямо, да поедешь криво!

Все это подумал бы он про себя, а сказать, не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот. и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: земляк! куда ты идешь, гляди-ка, тут головы не вынесешь без свища!" - "Про то знает тот, кто посылает, - проворчал старый служивый, - не ты за, свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!" Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю!

Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отставной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла - так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. У меня, говорит, и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! не откажи, батюшка!

Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масленой пошлет внучку к золовке: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела просить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!

Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему л не дал. Тогда убогий Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дровням за хвост и поехал по дрова; когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и вырвала себе хвост весь, в дровни остались за воротами. Хари-тоя приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пошел на него просить.

Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести в освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А когда сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думный грамотеи в очках хвоста искали, искали к не нашли"тогда воевода Шемяка. суд, учинил, я расправу к решение такое: Как оный убогий мужик, Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с. хвостом, то и повинен возратить таковую ж; почему и взять ему оную к себе, и держать, доколе у нее не вырастет хвост.

- Ну, вот и с плеч долой, - сказал Шемяка про себя; - сделаешь дело и душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!

"Удалось смелому присесть нагишом, да ежа раздавить, - подумал сват Демьян, - первый

блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот, никак, девки порасхватили, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай, человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликать на свою шею беду - не стучи, громом убьет. Кабы знал да ведал, где упасть, там бы соломы подостлал - не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкуре с сестры, а больше не велел их трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше .будет".

Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках, в баню, и спустился с ним, подле мосту, на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесле, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту, и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка судья, то он, став позади просителя, показывал судье тяжелую, туго набитую кожаную кису, будто бы сулит ему великое множество, денег. Шемяка Антонович, судья и воевода, приказал и суд учинить изволил такой: чтобы Харитону целовальнику стать под мостом" а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с моста, и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь, и пристроите его к месту, то есть отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку, да сшить на него деревянный тулуп, и дать знак отличия, крест во весь рост. - Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. Теперь, говорит, дело в шапке, и концы в воду; хоть святых вон понеси! Да поры, до времени, был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Авраам, а по делам - Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит, да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу - что дальше, то лучше; счастливый путь!

Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил и на полати спать положил. Харитон оборвался с полатай, упал в люльку и убил ребенка до смерти. Отец привел Харитона к судье, и, будучи крайне огорчен потерей дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке, из-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.

Ах ты окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего; а кто хочет знать да ведать последний приговор судьи Шемяки, конец и делу венец, тот купи, за три гривны, повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: "В некоторых Палестинах два мужа живаше - и читай - у меня и язык не поверится пересказывать; а я" по просьбе свата, замечу только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребаяющих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество, и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезаются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я отбрел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не почитав сказки, не кидай указки!

Итак, по благополучном решении и окончании трех уголовных дел сих, Шемяка послал поверенного своего требовать от Харитона платы, которую он ему вовремя суда сулил и показывал в кисе кожаной. А Харитон целовальник отвечал: это не киса у меня, а праща; лежали в ней не рубли, а камни; а если бы судья Шемяка меня осудил, так я бы ему лоб раскроил! Тогда Шемяка Антонович, судья и воевода, перекрестясь, сказал: слава Богу, что я не его осудил: дурак стреляет. Бог пули носит; он бы камень бросил и, чего доброго, зашиб бы меня! Потом, рассудив, что ему пора отдохнуть и успокоиться после тяжких трудов и хлопот, на службе понесенных, расстроивших здоровье его, так что у него и подлинно уже ногти распухли, на зубах мозоли сели, и волоса моль съела, поехал, для поправления здоровья своего, на службе утраченного, за море, на теплые

воды. А Харитон, целовальник отставной, как пошел к челобитчикам требовать по судейскому приговору исполнения, так и взял, на мировую, отвяжись-де только, с одного козу дойную, с другого муки четверти две, а с третьего, никак, тулуп овчинный, да корову - всякого жита по лопате, да и домой; а с миру по нитке, голому рубаха, со всех по крохи, голодному пироги! Всяк своим умом живет, говорит Харитон; старайся всяк про себя, а господь про всех; хлеб за брюхом не ходит; не ударишь в дудку, не налетит и перепел; зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно!

Вот вам и всем сестрам по серьгам, и всякому старцу по ставцу! Шемяка родил, жену удивил; хоть рыло в крови да наша взяла; господь милостив, царь не всевидящ - бумага терпит, перо пишет, а напишешь пером, не вырубишь топором! Нашего воеводу голыми руками не достанешь; ему бы только рыло свиное, так у него бы и сморчок под землей не схоронился!

Чтож сказать нам про Шемяку Антоновича, как его чествовать, чем его потчевать? Послушаем еще раз, на прощанье, свата Демьяна, да и пойдем. Он говорит:

Удалось нашему теляти да волка поймати! Простота хуже воровства, в дураке и царь не волен; по мне уж лучше пей, да дело разумей: а кто начнет за здравие, а сведет на упокой, кто и плут и глуп, тот - на ведьму юбка, на сатану - тулуп!

Кланяйся, сват Демьян, куме Соломониде, Расскажи ей быль нашу о суде Шемякином, так она тебе, горе мыкаючи, в волю наплачется; скажет: Ныне на свете, батюшка, все так; беда на беде, бедой погоняет, беду родит, бедою сгубит, бедой поминает! За грехи тяжкие, господь нас карает; ныне малый хлеб ест, и крестного знамения сотворити не знает - а большой, правую крестится, а левую в чужие карманы запускает! А мы с тобою, сват, соловья баснями не кормят, где сошлись, там и пир; новорожденным на радость, усопшим на мир поедим, попьем, да и домой пойдем!

СКАЗКА О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА, НА МОРВ И НА СУШЕ, О НЕУДАЧНЫХ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ПОПЫТКАХ ЕГО И ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКЕ ЕГО ПО ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ[*]

Однокашникам моим Павлу Михайловичу Новосильскому и Николаю Ивановичу Синицыну

Идет рыба на блевку, идет и на блесну - кто наелся былей сытных, приторных, тот поди для праздника перекуси небылицей тощей да пряною, редькой, луком, стручковатым перцем приправленною! Истина нахальна и бесстыдна: ходит как мать на свет родила; в наше время как-то срамно с нею и брататься. Правда - собака цепная; ей только в конуре лежать, а спусти - так уцепится, хоть за кого! Быль - кляча норовистая; это кряж-мужик; она и редко шагает, да твердо ступает, а где станет, так упрется, как корни пустит! Притча - дело любезное! Она неряхою не ходит, разинею не прикидывается, не пристаёт как с ножом к горлу; она в праздник выйдет, снарядившись, за ворота, сядет от безделья на завалинку - кланяется прохожему всякому смело и приветливо: кто охоч и горазд - узнавай окрутника; кому не до него - проходи, как мимо кружки, будто не видишь, что люди по пятаку кидают! Вольному воля, а спасенному рай; а чужай совесть - могила; за каждой мухой не угоняешься с обухом, и мой окрутник за тобою не погонится!

В Олонецкой губернии, сказывают, много камня дикого и много болота мокрого - там вышел однажды мужик попахать. Пустил он соху по низовью, под скатом, так попал было в топь такую, что насили вылез; выдрался с сохой он на горку, так напорол и вызубрил сошник о булыжник неповоротливый; а когда догадался поискать суходолья, так вспахал его и засеял. Это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди!

Сатана, не самый старший, всегда лично в первопрестольном граде своем царствующий, а один из приспешников и нахлебников его, один из чертей-послушников, праздновал именины свои; а звали того черта Сидром, и Сидором Поликарповичем. На пирушке этой было народу много, все веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народные и общественные, не

как у нас, на ногах, а скромно и чинно, на голове; играли в карты и выезжали все на поддельных/очках; расплачивались по курсу фальшивыми ассигнациями самой новой, прочной английской работы, не уступающей добротой настоящим; но все это делалось, говорю, мирно и ужиточно. Вдруг входит человек в изодранном форменном сертучишке, - кто говорил, что это хорунжий, отставленный три раза за пьянство и буянство; кто говорил, что это небольшой классный чиновник, а кто уверял, что это отставной клерк, унтер-баталер, а может быть, и подшкипер. Не успел он почтить собрания присутствием своим, как в тот же миг ввязался в шашни миролюбивых посетителей и, не откладывая дела и расправы, ударил на них в кулаки. Люблю молодца за обычай! Да и не детей же с ними крестить стать! Черт-именинник как хозяин сунулся было разнимать, но как от первого русского леща у него в ушах раздался трезвон в семь колоколов с перезвоном, на языке и горько и кисло стало, а из глаз искры посыпались градом, так он присел и присмирел. Гости расползлись по домам, по вертепам своим, и храбрый воитель и победитель наш остался пировать один, как тетерев на току.

- Дурак ты, - сказал настоятель, сатана-староста, Сидору, когда этот пришел к нему плакаться на беду свою, - дурак круглый и трус, и худой, как я вижу, нам слуга, когда жалеешь для службы нашей шкуры своей и пары-другой зубов! Тебя, вижу я, надобно в черном, теле держать! Ты бы обрадовался находке да последил ее; я давно вам, неизворотливым, сказывал, что мне чиновные озорники, и пройдохи почетные нужны,--чтобы вы их сманивали да зазывали, а вы знай ходите поджавши хвосты, как смиренники! Вы у меня как-то все от рук отбились: погоди, я вас пригну к ногтю! Изволь ты у меня отправиться на землю, изведать на деле сушь и глубь и быт гражданский и военный и взять оседлость там, где для оборотов наших окажется повыгоднее; да прошу без всяких отговорок служить, как люди служат, не для поживы в личных выгодах, а для блага и пользы общей нашей, не щадя ни живота, ни крови.

Сидор Поликарпович вылез из преисподней, стал ногами на твердую землю и оглядывался кругом на просторе; с него еще пар валил, как с московского банщика, в он все еще не сбил оскомину после вчерашней переक्вашенной русской закуски; а сверх того, сплечился немного в задней левой ноге, когда выбирался из пропасти преисподней, а потому прихрамывал и сел отдохнуть.

"Плохое житье наше, - подумал он про себя. - С тех пор как нашего брата с неба спихнули, все обижают; всякий- ярыга дулю подносит и по ушам хлещет! Свались только ты, так в подобьют под йоги" а станешь вставать, оправляться, так подзатыльников и не оберешься! Народ умудряется и просвещается со дня на день, и бесхвостое это племя за все берется, во все ввязывается: под землю подрывается, бороздит по морю, крестит по воздуху, - не присвой я себе жару, огня ярого, так бы и не было у меня своего красного уголка, вечем было бы перед ними похвалиться! Бьешься, бьешься как рыба об лед" а поживы мало, часом я харчи не окупаются!"

Он оглянулся кругом, доводил рылом во все стороны, а он, как добрый гончий, искал верхним чутьем, вздохнул горько и сказал: "Идти добро промышлять отселе подальше - здесь, в этой земле, за причетом нашим, и босым и постриженным, приступу нет; они и без нашего брата управятся!"

Он встал и пошел на восток, ибо вылез на землю на самом крайнем западе, на взморье, под крутым берегом, где конец света и выдался мыском в море крайний клочок земли, нашей части света. Шел он, шел, долго ли, коротко ли, ведром ли, погодкой ли. а дошел до страны от нас западной, пригишпанской, королевства задорного; а обитают в королевстве том люди неугомонные, неужиточные, родятся в них замыслы весбыточные, Там-то Сидор наш встретил отрядец солдат на привале. Солдаты те пришли из стран северных, необозримых, пространством морю прилежащему, ледовитому, равных; перешли путем земли многоязычные и отдохали от трудов и утомительного перехода. Черт подсел к ним и начал расспрашивать их:

- Куда, ребятушки, идете?

- Идем мы, куда Макар телят не гоняет, куда ворон костей твоих не занесет, идем под Стукалов монастырь пить да гулять, а не сиднем сидеть, играть в мяча чугунного, грызть орехи каленные ядренные; идем хлебом-солью гостей чествовать, сажать боком-ребром на прилавки железные, узкие, граненые, за скатерти браные травчатые-муравчатые, за столы земляные; поить до упаду хмельным багряным вином, опохмелять закусками ручными ореховыми, приговаривать: "Не ходи

один, ходи с батюшкою"; припевать:

"Не тебе, супостату, на орла нашего сизого, на царя нашего белого руку заносить окаянную!" Кому пир, а кому мир; а кому суждено, разбреемся - сляжем по землянкам даровым, не купленным, по зимовьям не просторным, низеньким; нашему брату жизнь - копейка, голова - наживное дело! Идем пожить весело, умереть красно!

"И гладко строгают, и стружки кудрявы! - подумал черт Сидор Поликарпович. - Дай еще с ним потолкую, авось не будет ли поживы!"

- А что, служивый, чай здесь житье ваше привольное, хорошее?

- В гостях хорошо, а дома лучше, - отвечал гренадер.

- Здесь девушки хороши, - намекнул черт. Гренадер. Много хороших, да милых нет! Черт. Хороши, да не милы! Сбыточное ли это дело?

Гренадер. У нас не по хорошу мил, а по виду хорош!

Черт. Так что же вы милых покинули, а зашли к немилым!

Гренадер. Не пил бы, не ел, все на милую глядел - да слезою моря не наполнишь, кручиною поля не изъездишь, а супостата вашего крестом да молитвою не изведешь; стало быть, садитьсяя казаку на коня, а нашему брату браться за пищаль да за щуп!

Черт. Да вы, господа кавалеры, волей или неволей сюда зашли?

Гренадер. Наша воля - воля царская; за него животы наши, за него головы!

Черт. Поглядишь на вашего брата, так жалость донимает! Кабы на мою немудрую голову - что бы, кажись, за радость в такой вериге ходить! Покинул бы честь и место, да и поминай как звали меня самого!

- А у тебя самого - распазить да навоз возить! - отвечал ему гренадер.

"Какой этот сторожкой! - подумал черт Сидор Поликарпович. - Пойду к другому! Дай пристану тут к заносному племени этому; к ним и ходить далеко и проживать холодно. Здесь, во стране пригишпанской, западной, сручнее будет мне с ними побрататься; а там - чем отзовется, попытаюсь с ними вместе и до их земли добратся!"

Наш новобранец, из вольноопределяющихся, пристал, служил и ходил под ружьем, терпел всю беду солдатскую, перемогался, но - крепко морщился! Ему в первые сутки кивером на лбу мозоль намяло пальца в полтора; от железного листа в воротнике шея стала неповоротливее, чем у серого волка; широкою перевязью плеча отдавило, ранцем чуть не задушило, тесаком икры отбило! Солдату, говорят, три деньга в день, куда хочешь, туда их и день; веников много, да пару нет, а мылят, так все на сухую руку! У солдата шило бреет, а шубы нет, так палка греет! "Эти поговорки приелись мне, как сухой ячмень беззубой кобыле, уходили меня, как кающегося грехи; это не по мне! Семь недель, как в великий, пост, голодом сиди, семь недель мозоли сбивай, покуда раз, да и то натошак, угодишь подраться да поживиться! Что мне за неволя в таком хомуте ходить! Стану жить я по-своему".

Сказано - сделано. Полк вышел к смотру, у всех и ранцы и амуниция исправны, а у нашего Сидора ни кирпичика форменного, ни ваксы сухой, ни воску, ни лоску, пуговицы не чищены, ниток в чемоданчике, напоказ, ни серых, ни белых!

Сидор Поликарпович думал переиначить всю службу по-своему, да и опростоволосился крепко! Ему это отозвалось так круто и больно, что он, забыв все благие советы и наставления старосты-сатаны, бросил все - и службу, и ранец, и ружье, и суму, проклял жизнь и сбежал. Он удирал трои сутки без оглядки, набил плюсны и пятки и присел наконец под липку перевести дух. Не успел он еще опаматоваться, как вдруг увидел перед собою человека невысокого роста, в низкой треугольной шляпе без пера, в расстегнутом сером сюртуке, длинной жилетке, в ботфортах, который стоял, сложив руки на груди и выставив левую ногу вперед, и разглядывал по очереди все отдаленные, через дол и лес пролегающие дороги, и был, казалось, в нерешимости, которую ему избрать. - Черт Сидор подошел, обнюхал незнакомца кругом, в одно ухо ему влез, в другое вылез, и узнал таким образом все помышления и замыслы его. В это время вдруг подлетел латник с косматым шлемом и, указывая назад, донес, что он опять уже видел мельком пики на красных и синих древках и нагайки. Тот кинулся на коня и помчался стрелой; и наш Сидор, смекнув и разгадав дело, едва успел сунуть ему за пазуху письмо, которое он, пригнувшись на корточках за заднею

лукою седла всадника, написал и которое при сей верной оказии вздумал отправить во тьму окромешную к командиру своему, сатане-старосте, чтобы известить его о плохих успехах своих и проситься домой. Сидор не колдун, да угадчик; письмо его запоздало несколько, это правда, но оно, застрахованное, действительно дошло наконец до места и передано всадником с рук на руки старосте-сатане, настоятелю Стопоклепу Живдираловичу; вот оно от слова до слова:

"Письмо от черта-послушника, Сидора Поликарповича, к сатане-старосте. Стопоклепу Живдираловичу, писанное на земле, во стране пригишпанской, западной, и отправленное во тьму окромешную при первой оказии с человеком невысокого росту в треугольной шляпе без пера.

Старосте нашему, Стопоклепу Живдираловичу, от послушника его и нахлебника, Сидора Поликарповича, нижайший поклон; супруге его, Ступожиле Помеловне, от усердного поклонника ее, Сидора Поликарповича, многия лета и нижайший поклон; теще его, ведьме чалоглазой, Карге Фоминишне, по прозванию Речной Терке, нижайший от нас же поклон и всякая невзгода Мирская; равномерно и сожительнице нашей, драгоценной Василисе Утробовне, наклон и супружеское наше приказание, задним числом со дня отлучки нашей, пребыть нам верной; деткам нашим, сыновьям: Кулаку, Зарезу и Запою, дочерям: Мохнашке и Сивухе - родительское наше проклятие на веки нерушимое и поклон; брату нашему, Искусу Поликарповичу, и сожительнице его, Чуме Цареградовне, дяде нашему, Тузу Бубновому под крапом и сожительнице его. Крале Червонной Зотообрезной, а равно и всей преисподней нижайший поклон наш и всякая неправда мирская и нечистые дела и соблазны; желаем им всякое наитие замыслов нечестивых в успех и воздаяние сторицею за понесенные труды и беды; а о себе скажем, что мы благодаря ходатайству старосты нашего, Стопоклепа Живдираловича, и процветающим в краях здешних глупостям и вздорным пакостям людским еще в живых и здравствуем, хотя все посильные наши попытки доселе еще мало понесли за собою плодов, и иного мы бедствий земных на себе испытали, и осталася за нами одна только надежда, что новое предприятие наше принести нам долженствует успех вящий и жатву обильную, душегубительную. А вышли мы из преисподней во стране, бедной науками, и художествами, и просвещением, где блаженствуют наши, и босые и постриженные, на краю света, - почему и сочли мы за лишнее основать здесь пребывание наше, а отправились через горы высокие, снежные на Восток и обрели там людей, наклонных к дури и к пакостям, самодовольных и бессовестных; почему, рассудив также, что оные люди рук наших не минуют, раздавали мы им только значки, трехцветные и белые, для основания междоусобий; а потом и намеревались держать путь свой еще далее на Восток, как дошло до нас сведение, что нахлынули от стран северных люди, дюжие телом и крепкие духом, им же несть числа, а страна их ледовита и ими любима; и заложил во время оно преставившийся царь их, а наш первейшей враг, столицу свою в земле, неприятельской, и довершили: ее наследники царя того и потомки, вопреки стараниям и покушениям нашим, а древнюю столицу свою, до которой нет нам приступу от великого множества церквей, коих числится сорок сороков, отстояли они ныне снова и подняли на дым, дабы не досталось в руки иноплеменникам двадцати языков, под предводительством подручника нашего на царя и землю их покусившихся; и уморили они тех иноплеменников захожих голодом и холодом, и уходили и извели оружием, и написали сказку: "О беспечной вороне, попавшейся во щи гостей голодных", и следили того предводителя до земли и столицы его, где мы ныне обретаемся, и побивали его нещадно на каждом шагу. А посему и сочли мы за лучшую пакость подбиться к сим ненавистным нам доблестным и смиренным воителям и искусить их к совращению с пути повиновения и благочестия. Но сия попытка, несмотря на то, что, усердствуя ко благу нашему общему, не щадили мы ни плеч своих, ни шкуры, обошлась нам весьма несходно, и понесли мы от нее накладу более, чем барышей. Есть у них, например, обычай военный, что не спрашивается: отколе взять, а говорится только: чтоб было; глядишь - и есть; а чуть прогуляешь, проглядишь, так тотчас за расправу, а это вовсе не по нас! И пуще всего невзлюбили мы у них той музыки, что стучат в глухие бубны без бубенчиков да подыгрывают в два смычка без канифоли на кожаной скрипке; испытали мы притом жизнь холодную и голодную, так что часом и уведешь где-нибудь быка, да негде изжарить, некогда съесть; а по всему этому и рассудили мы наконец предоставить их участи своей, покинуть и сбежать. Они же, воители те, царей своих чтят свято, за землю обширную, отчасти ненаселенную и дикую, стоят всем оплотом дружно и норовисто, а посему успеха нам еще

ожидать должно мало. Таким делом изведали мы быт их на суше, а ныне намерены при помощи отца-настоятеля и старосты нашего сесть на корабли их, здесь обретающиеся, и держать путь вместе с ними чинно и тихо до земли их и осмотреться там, на месте, не упуская удобного случая взять оседлость свою, как наказано нам было, там, где окажется повыгоднее и попривольнее. О чем, здравствуя, будем не оставлять вас своими уведомлениями; а вас просим усердно находить нас таковыми же. А писано сие писмо к вам через самого того земли пригишпанской, западной, повелителя, нашего подручника, которому срок на земле ныне вышел уже давным-давно и следует ему явиться к старосте, Стопоклепу Живдираловичу, во тьму окромешную; но, по мнению нашему, востребуется послать дюжину-другую разночинцев и послушников, нашей братьи, дабы они могли уловить и увлечь с собою того подручника нашего и представить в преисподнюю; ибо сам он, употребляя во зло долготерпение наше, день за день просрочивает и явиться к месту откладывает. А за сим, испрашивая от старосты нашего, и настоятеля, и всей братии послушников всякую невзгоду и проклятие небесное и земное, остаемся усердствующим ко соблазну общему служителем и послушником вашим чертом Сидором Поликарповым.

Приписка. Еще уведомляем вас и о том, что оные северные страны повелитель, лишь только первый на миродавца того руку наложил, и отстоял земли и народы и веси своя, и избил век" заморскую рать его, и отобрал все оружие и до тысячи огнеметных литых орудий, то и все земли крещеные, доселе миродавцу тому раболепствовавшие, очнулись, и оперились, и противу него восстали, завопили, и начали витии велеречивые- священнодействовать и писать воззвания доблестные и песни ободрительные войскам своим и всему народу; а понеже той северной страны повелитель даровал милость и пощаду всем на него посягавшим и карать их более не пожелал, а требует от них мира и дружбы, каковое изумительное великодушие поразило и врагов и новых союзников его, то и не худо бы нам заранее разослать в те иные земли послушников наших, дабы соблазнить все народы и земли крещеные забыть, что скорее, то лучше, таковое им оказанное беспримерное благодеяние и заставить их в бессилии своем и немощи обносить оговорами и клеветою северной той страны обитателей и властителей их и мстить им за вышереченное благодеяние всяким наветом злым, и словом, и делом, и где чем прилучится. О чем и прошу довести до сведения старосты нашего и настоятеля, Стопоклепа Живдираловича; ибо замечено нами на пути нашем, что склонность к таковым нам любезным пакостям и злодеяниям таится уже в семенах раздора многоязычных племен тех".

Отправив письмо это, соскочил Сидор с задней луки седла и чуть было не повис в тороках! "Долго ль до беды, - подумал он. - О серник споткнешься, затылком грянешься, а лоб расшибешь!" Он присел; а как было уже довольно поздно и Сидор наш уморился крепко, то и лег, свернулся, наутро встал, стряхнулся, совершил поход в один переход и сел на корабль у взморья.

"Фортуна бона, - подумал черт Сидор Поликарпович - а он думать научился по-французски, - форту. на бона, - подумал он, когда изведаль службу нашу на море. - Я хоть языкам не мастер, а смекаю, что тютюн. что кнастер; мои губы не дуры, язык не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко. Здесь жизнь разгульная и всякого добра разливное море! Каждый день идет порция: водка, мясо, горох, масло; под баком сказки, пляски, играют в дураки и в носки, в рыбку и в чехарды; рядятся в турок и верблюдов, в жидов и в лягушек; спят на койках подвешенных, как на качелях святошных, - одна беда - простору мало, да работы много!"

Он надел на себя смоленую рабочую рубаху, фуражку, у которой тулья шла кверху уже, а на околыше были выметаны цветными нитками зубцы и узоры; опоясался бечевкой, привесил на ремне нож в ножнах кожаных, свайку, насовал в карманы шаровар каболки, тавлинку, кисет; вымазал себе рожу и лапы смолою, взял в зубы трубочку без четверти в вершок и, проглотив подзатыльника два от урядника за то, что сел было курить на трапе, примостился смиренно к камбузу, где честная братия сидела в кружке, покуривала корешки и точила лясы.

- Что скажешь, куций капитан общипанной команды, поверенный пустых бочек? - спросил марсовой матрос трюмного, - каково твои крысы поживают?

- Приказали кланяться, не велели чваниться! - отвечал тот.

- Не бей в чужие ворота плетью, - заметил старый рулевой насмешнику, - не ударили бы в твои дубиной! Век долга недели, не узнаешь, что будет; может быть, доведется еще самому со

шваброй ходить!

- Не доведется, Мироныч, - отвечал первый, - с фор-марсу на гальюн не посылают! Без нашего брата на марса-рее и штык-боут не крепится!

- Не хвались, горох, не лучше бобов, - проворчал третий. - А кто намени раз пять шкаторину из рук упустил, куда люди не подсобили?

- Упустишь, когда из рук рвет, - отвечал опять тот. - Ведь не брамсельный дул, а другой риф брали!

- У доброго гребца и девятый вал весла из уключины не вышибет, - сказал урядник с капитанской шестерки, - не хвали меня в очи, не брани за глаза, не любуйся собой, так и будешь хорош!

- Запевай-ка повеселее какую, Сидорка, - сказал нашему Поликарповичу сосед его. - Что ты сидишь - надулся, как мышь на крупу! Ты волей пристал к нам, Так и зазнаешься; а у нас, вишь, неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет!

- Не свайкой петь, когда голосу нет! - отвечал Сидор, оскалив зубы, как мартышка. - Запевай-ка ты свою:

Здравствуй, милая, хорошая моя,

Чернобровая, похожа на меня!

- На тебя? - спросил урядник. - Надо быть, хороша была! Неужто и с тобой какая ни есть слюбилась?

- Нет такого мерзавца, чтобы не нашел своей сквернавки, - отвечал Сидорка. - Кабы люди не сманили, и теперь бы со мной жила!

- Кабы нашего сокола вабило не сманило, сто лет бы на месте сидел, подхватил марсовой. - А какая твоя любка была, Сидорка, чернавка или в тебя, белышка?

- Была белобрысая, была и черномазая, - отвечал Сидорка, - было, да былшем поросло! Нашему брату за вами, в бубновых платочках, не угоняться!

- Да, мы таки постоим за своих, - подхватил тот же марсовой, - и поспорим хоть с кем, что против нашей, ниже у косноязычного француза, не найдешь ни одной! Бывало, моя как приоденется да приуносится, так хоть водицы испить!

- Чистоплотен больно, - промолвил Мироныч, - что за дворянин! Когда горох в котле, так, стало быть, и чист; брюхо не зеркало, что в зубах, то и чисто!

- Горох горохом, - отозвался кок за камбузом. - а в рассоле из-под солонины, ребята, нечего греха таить, наудил нынеча угрей!

- Эка невидаль, - отвечал Мироныч, - будто то и черви, что мы едим; по-моему, так то черви, что нас едят! Смазной, да затягивай хоть ты сдуру песню свою про червяка черемхового!

- Погоди, - отвечал Смазной, - вишь, трюмный наш, Спирька, задремал, так чтоб не потревожить!

- Чего тут годить; на посуле, что на стуле, посидишь да и встанешь, сказал опять первый.

- Встанешь, пройдешься, да и опять присядешь, - отвечал тот, - посуленное ждется; что я тебе за песенник дался? Много ли вас тут охочих до песен моих? Я меньше как при двенадцати зубов не оскалю и голосу не подам!

- И дело, - подхватил марсовой. - У нас был в Касимове мещанин; как начал торговать, так, бывало, на пятак в день уторгует да еще два гроша сдачи даст; а расторговался, поднялся с мелочяго на оптовой-валовой, так в нитках пасмы не разбивает, в варганах полудюжины не рознит!

Дудка просвистела на шканцах, и осиплый голос прокричал в фор-люк: "Пошел все наверх!" Все кинулись, кто в чем сидел, и Сидора Подикарповича нашего подле трасу семь раз с ног сбивали! Он вылез последним, и вахтенный урядник, сказав ему, что он скор как байбак, поворотлив как байдак, спросил:

"Не угодно ли прописать боцманских капель?" - "Не все линьком, - отвечал Сидор, - можно и свистком!" - "Да, можно, - ворчал тот, - засядете под баком, так вас оттоле калачом не выманишь, ломом не выломашь, шилом не выковырнешь Пошел на марса-фал!" Сидор кинулся на марса-фал, а его в шею. "За что?" - "Не трёкай! Опять по шее. "За что?" - "Иди ходом, лежи валом, не дергай!" Кричат: "На брасы на правую!" А Сидора в шею. "За что?" - "Не тяни без слова!" Опять в шею.

"Отдай", - говорят; отдал - "Тяни!" Ну, словом, замотали бедного Сидорку нашего до того, что он и не знал, куда деваться, куда ни сунься- - урядник; за что ни ухватись - линек! "Из бухты вон!" - раздалось с юту, и Сидор наш, который еще не знал ни бухты, ни лопаря, оглянуться не успел, как боцман отдал пертулинь; якорь полетел, потащил за собою канат, а с канатом и Сидорку, который не успел выскочить из свернутых оборотов каната" из бухты, и Поликарповича в полтрети мига вместе с канатом прошмыгнуло в обитый свинцом клюз, выкинуло под гальюном, перед носом корабля! Он вынырнул, ухватился за водорез, за ватерштаги, вылез на буш-прит и стоял долго, почесывая затылок и оглядываясь кругом: таких проказ он и во сне не видал! Он не мог опаматоваться. "Что за нелегкая меня сюда принесла! - подумал он, присев под кливером, у эзельгофта. - Тут замотают так, что с толку своротишь, из ума выбьешься! Попал я никак из огня да в воду! Как ни ладишь, ни годишь, а не приноровишься никак к этой поведенции, к морской заведенции! Не дотянешь бьют, перетянешь - бьют; а что и всего хуже - работа впрок нейдет; тяни, тяни, да и отдай! Тяни, из шкуры лезь, тяни, да и отдай! Что это за каторга? По-моему бы, выдраил в струнку один раз, на шабаш, закрепи, да и не замай! А тут не успел навернуть на планку либо битенг, опять сымай, травы, отдавай - а там опять тяни! На это не станет и сил; у меня руки в плечах оттянуло так, что лапы в поликры болтаются: это не шутка! А глядишь - завтра то же, послезавтра опять то же... -Служи сам настоятель, сатана-староста, когда лаком больно, а не я. Неохота лап мочить, а то бы соскочил сейчас, да" и пошел! Терпеть, видно, до первого якоря, а там - и черт не слуга!"

Рассудил, как размазал, и не стал работать; отнекивался во ожидании первой якорной стоянки, а между тем стал бурлить тихомолком, задумал всполошить всю команду. Свистят: "Первую вахту наверх!" Сидорка забился на кубрике где-то, сидит, дух притаил. Кричат: "Аврал, аврал!" - и- подавно то же; Сидорка и сам не идет и других не пускает! Как тут быть? Капитан' хватился за ум. Он догадался, что все это проказы заморского выходца, новобранца нашего, Сидора, и вздумал повернуть делом покруче. "Свистать к вину!" - закричал он вахтенному уряднику. Урядники собрались все вокруг грот-люка, просвистали резко и согласно "к вину", вся команда вышла, и черт Сидор Поликарпович также вылез. Тогда капитан приказал его схватить и, как первого зачинщика, растянул его на люк и вспорол, да так, что с него, с живого, сухая пыль пошла, что, как говорится, и чертям тошно стало! А сам приговаривал: "Я тебя взял на службу государеву, одевал и кормил тепло и сытно, а ты ум свой с концов обрезал, да и в середке ничего не оставил, вздумал проказить на свою голову - закорми чушку, так будет плакаться на пролежни; трунил ты надо мной, потешусь и я над тобой; проведу и я свою борозду, поставлю над тобою пример, чтобы у тебя сдуру молодец какой-нибудь не вздумал перенимать; передний заднему дорога; не задай острастки, так, чего доброго, черниговского олуха какого-нибудь и оплетешь! Не я бью, сам себя бьешь; кнут не мука, а вперед наука - один битый семерых небитых стоит! Это тебе в задаток; а если расплачиваться начистую с тобою доведется, так знай, что дело пойдет в рост! Тогда не пеняй!"

Черт Сидор Поликарпович, вырвавшись от жару такого, какого и у себя дома, в преисподней, не видывал, кинулся со всех ног через кранбалку и уцепился за одну лапу якоря, который только что был отдан и летел в воду, пошел с ним ко дну и впился мертвым зубом в илистый, вязкий, под плитняком, грунт морской; а когда на другой день судно стало сыматься с якоря, а черта нашего едва было не достали со дна морского, то он, в беде неминуемой, перегрыз зубами канат у самого рыма, и боцман с баку закричал: "Пал шпиль! Лопнул канат, щепнем перетерло и конец измочалило!" "Черт с ним, и с якорем, - подумал баковый матрос, которого выпороли заодно с Сиверкою, - у нашего царя якорей много, всех не переломаеть! По крайней мере избавились от новобранца этого неугомонного, что пришел из стран пригишпанских, западных, и сел кстати, как вахлак на мослак!"

Таким образом, черт Сидор Поликарпович пропал вторично без вести, считался год со днем в бегах и наконец из списков по сухопутному и морскому ведомству выключен. Поминают об нем старослуживые с тремя шеvronами, поминают, как царя Гороха да Ивашку Белую Рубашку! Черт Сидор пропал, концы схоронил, и след простил! Какие приключения и похождения проходил и изведаль он на дне морском, - ' мореплавател ли какой, со всем причетом и пожитками своими, морем хладным объятый И во мраке багровом до искупления своего по дну морскому крейсирующий, или другой кто приняли, приютили, наставили и научили Сидорку нашего, - этого я и не

знал да позабыл; а у меня память такая куриная, что чего не знаешь, того и не помнишь! Знаю только, что вскоре после того, как сбылось с Сидоркою рассказанное в сказке нашей приключение и похождение, стал показываться оборотень какой-то в кудрявых и прописных Азах, коими расчеркиваются чиновные и должностные наши. Он, Сидорка, то роги выставит, то ногой лягнет, то когти покажет, то язык высунет, то хвостом, как мутовкой, пыль взобьет, - а сам с той поры никогда и никому более в руки не дается и На глаза не показывается; удавалось, правда изредка, сбить ему рог, так вырастал опять новый, покруче первого; посадили ему было как-то язык в лещедку, так он за перо; и видел его цепком один только сват мой Демьян, да и то во сне! Сидит, сказывал, лоскут красного, чернилами испятнанного сукна подостлавши, затирает чернильные орешки с купоросом, с камедью, чинит перья-скорострелки, ножички подтачивает, смолку на подчистку изготавляет; сват Демьян подошел было к нему сдуру во сне, хотел поглядеть на него, так тот накормил его палями, напоил чернилами да начал было на него писать на листе форменного формата донос; так мой Демьян от него отрекся, отчурался; я, говорит, ни вор, ни пьяница, в домо-строительстве не замечен, так во мне для тебя, хоть ты двадцать стоп испиши, ни русла, ни ремесла; человек я маленький, полуграмотный, шкурка на мне тоненькая, да и та казенная; пишу я по-казацки, супостата шашкою по затылку, коня донского нагайкою по ребрам; так ты отвяжись и не пятнай доброй славы моей, чтобы всяк мог говорить и ныне, как говаривали встарь:

Козак, душа правдивая,
Сорочки немае
Коли не пье, так воши бье,
Таки не гуляе!

Черт Сидор Поликарпович задал еще никак острастку куме Соломониде; а впрочем, остался при хлебном и теплом ремесле своем и при месте - он выписал из преисподней супругу свою, Василису Утробовну, сыновей: Кулака, Зареза и Запоя, дочерей: Мохнашку и Сивушку, и живет с ними припеваючи! Он доходами и сам сыт и подушное за себя и за всю семью свою, по последней ревизии, сатане-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачивает, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарил неоднократно к праздникам камачею, камкою, ожерельями и платками; места же своего покинуть не думает, а впился и вьелся так, что его теперь уже не берет ни отвар, ни присыпка!

Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто охоч, да не горазд, тот поди, я с ним глаз на глаз еще потолкую; а кто горазд, да не охоч, тот прикуси язык да и отойди прочь!

СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ[*]

А что, ребята, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тещи его, у просвирни?

- А ныне трынка-волынка-гудок, прялка-моталка-валек, да матери их Софии, отвечал косолапый Терешка, облизываясь.

- А коли так, - молвил сват, - коли праздник, то, видно, быть тому делу так: чтоб не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-тка сюда, садитесь на солнышко в кружок да кладите головы друг дружке на колени; сами делайте свое, а сами слушайте!..

Жил-был во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусяр да старуха гусярка...

- И страх их не берет, - сказал долгополый, церковник, проходя мимо наших молодцов и подпираясь терновой тросточкой своей, - и страх их не берет! Хоть бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б; так нет, вишь, и в будень... Погоди, вот я вас!

- Не сердись, дядя Агафоныч, - молвил сват, - что пути, печенку испортишь; позволъ-ка милость твою поспрошать: у вас коли бывает воскресный-эт день?'

- В воскресенье, антихристы, - гаркнул Агафоныч.

- Ан в субботу, - подхватил тот же молодец, - в субботу перед вербным у нас бывает Лазареве воскресенье!

- Вот каков, и церковника сбил да загонял, - закричали ребята, заливаясь хохотом, - ай да письмослов!

А рассказчик продолжал:

- Жил, говорю, старик гусяр да старуха гусярка. Спросите вы; что-де за гусярка, коли он играл на гусях, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачке кличка бывает, а по мужу и жену чествят; коли муж гусяр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам, молодцам молодецким, что и старухе наемдни прилучилось поиграть на гусях: как полезла она за решетом да стянула их рядом с полатай - загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.

До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться о ту же пору, как и зубы, промолв с лихвою два-сорока годов; но наживное имущество, гусли, все еще служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Поищихи, со проселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того когда старухе нехотя, как сказывал я вам, случилось поиграть на гусях этих и в первый и последний, когда, сверх того, старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни:

Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!
Тятька гусяр, моя мама гусярка
Где твои гусли, бедный Кузя?
Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!

Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлое оконце брусной десятской избы, пропел песенку свою, тряхнул осколышками гуслей в мешке - нет ответу, ни привету, а шум и тары да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе, вплоть под окно; глянул - сидят бабы; прислушался - идут у них толки о нечистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем. "Бабы дуры, - подумал он и сам, как отошел, и затянул ту же песню свою под другим окном, - кто бабе поверит, и трех дней не проживет"; одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит да зажмешь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене; бедняга пропал тогда и с нечистым своим; будет моргать очами да повертываться, что на колу, и наконец взмолится: аман! перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским штыком!

Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жег и продавал на ваксу и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышку наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делатели ваксы и помады, - как вдруг к нему, к Кузе, подошел, отколь ни взялся, цыган ли, татарин Ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречи ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать Сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке сидючи, задремал. "Кто это?" - спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. "Неужто ты эту собаку не знаешь? - сказала Мотря шальная. - Это Будунтай, чертов пай, всем ведомые переметчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки

семи шаманам сибирским приписался, под Чудовом в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы в светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегуне", а из них две лошаденки белые, а одна голая, - да я ушел на три стороны; ищи его! Вот он за что я слывет у нас переметчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!"

Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри, а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. "Что-то будет?" - подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным поденщиком, чтобы не подрывался под него суковатою клюкою, а выдул бы колышек, на который-де того и гляди либо скотина, а не то и прохожий человек наступит да напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его. доколе тот не посулил ему за волю свою любого.

- Сокрушил меня, злодей! Проси чего хочешь, - сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмывает; потом снял шапку, отер пот с чела полотенцем с алыми шитками да со владимирскими городочками и вздохнул тяжело, словно в оглоблях.

- Выучи меня своему досужеству, - стал тогда просить бедный Кузя.

- Изволь, - отвечал Будунтай" - отпусти ж меня!

- Нет, врешь, обманешь, в лес уйдешь, - приговаривала шальная Мотря.

- Дай задаток, - сказал Кузя, - видно, Мотря шальная правду говорит: мужик тонет - топор сулит, выгацишь - и топорщица жаль! Дай задаток, а не то не отпущу!

Будунтай разгреб, не вставая е места, вод собою кучу, достал горсть алтына, золота и высыпал его Кузе в котомку.

- Врет, обманет, в лес уйдет, - приговаривала опять Мотря.

- Все это хорошо, - сказал Кузя, - да этого мало; надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушел, да окорнать для приметы одно ухо; пой песни, хоть тресни, а без пометы не пущу; ты не курица, ногавки на тебе не навяжешь - давай ухо!

Будунтай-переметчик осерчал, стал браниться по-своему, по-вятски:

- Чего талы² натарашил на меня блябла³ те в ухо, чтоб тебя комуха⁴ в ромух⁵ свернула! Чтоб тебя уроса⁶ в вицу⁷ иссушила да шоры⁸ и сильки⁹ пупочки с тебя посклевали! Бери нож, - сказал он наконец, - да режь ухо!

- Нет у меня ножа, - отвечал Кузя, - доставай свой, не то зубом грызть стану!

Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузе и подставил правое ухо.

- Левое, давай собака, - сказал Кузя, - недаром что-то ты его отворачиваешь!

Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товара когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорнячок углом, положил лоскут в котомку, где лежали

² Глаза (Прим автора)

³ Оплеуха (Прим автора)

⁴ Лихорадка (Прим автора)

⁵ Тряпица (Прим автора.)

⁶ Упрямец, это испорченное татарское урус, русски*. И поляки говорят, uparty, jak Moscal (Прим автора).

⁷ Хворостина (Прим автора)

⁸ Индейки (Прим автора)

⁹ Цыплята (Прим автора)

гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай только крикнул, встал, встряхнулся, в черного пеху обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье. где дороги разбегаются: в лес, на водопойное озеро, да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что и" лука стрела.

Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригореть золота, сказал, что богатый человек берет его в услужение да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им отставные гусли и пошел в полночь на перепутье.

Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, я Будунтая нет. Кузя сказал про себя: "Недаром, видно, Мотря честила тебя? видно, знает она дружка! Ну да меня теперь не проведешь, от меня в лес не уйдешь!" Сам вынул ухо Будунтая и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи и закачался Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб:

- Кой черт! Ты, что ли, это, Будунтай?

- Я! Да что ж ты кусаешься, знаком? - сказал пегашка-столб; пойдём, что с тобой делать, пойдём ко мне в науку; да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!

- А там что, - спросил Кузя, - как выучусь?

- А там, - отвечал Будунтай, - на свой пай сам промышляй; беркут пискленка кормит, а орла не кормит.

Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству? - спросите. Да вот как: выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернет - вот вам кочан капусты; запустит ему руку в глотку по самое плечо, ухватит там за что ни попало, вывернет наизнанку - вот вам ни то ни се, ни черт знает что. Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. Будунтай-переметчик позвал стариков, родителей его, вывел им трех коней и спросил: "Который ваш сын?" Старик поглядел да я указал, наудалую, на авось, среднюю. "Нет, - отвечал Будунтай, - знать, сын твой недоучился. Поди и приходи через полгода".

Вы знаете, ребята, что ждате полгода долго, страх долго; а между тем, оглянись назад, его уже и нет!

Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему: "Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом". Но Будунтай вывел ему трех куных куронок и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало - и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправливать носом перышки на шейке, а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом, старик его узвал и взял выученного сына домой. "Возьми его, - сказал переметчик Будунтай, - да слушай: береги его как око свое; если ж понадобятся тебе деньги, те ведя сыну оборотиться в коня веди на базар и продавай; да только смотри, уздечки е ним не отдавай, а сыпи да неси домой, так и он дома будет". Колдун махнул рудой и пропал, словно сквозь землю провалился; а лошади оборотились в людей: вороной жеребчик - в Кузю бесталанного, рыжая кобыла - в шальную Мотрю, а чалый мерин - никак в тебя, Терешка!

Старик пришел с сыном домой, дождался торгового дня; Кузя оборотился конем, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и соленого - а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ешь солоно, так и на том свете не сгниешь. Накупивши всего, чтобы было чем полакомить и старуху свою, пошел домой, а Кузя, его сын бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чем не бывало воротились домой.

А ушел наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на Лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусяра каракового коня, четырех лет, трех с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином за то, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок, - известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком, - наконец однако же, чтобы не

упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусяру деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянуться на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад - у него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху - весь базар расходился; казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить - да к кому пойдешь и на кого? Но это, слышь, не все, а была еще потеха вот какая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походною кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло не плохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело; загадано - сделано; цыган предал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл ее у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочел: "С нами крестная сила" и "Помилуй мя, господи!" - уехал с базару, и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Семионам, обойдемся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают, на свое наносят да набивают, а проку в них ни на волос!

Дождавшись другого базарного дня, гусяр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусяра коня и увел его совсем, с недоуздкой. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.

На этот раз купил Кузю бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у новопкупки левое ухо, на обмен, на выкуп своего, которого иверень о сю пору еще оставался за Кузей. Разменявшись, оба они стали с ушами; да уж отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя поневоле ему покориться.

Будунтай, изморивши да загонявши коня новопкупленного до бела мыла и задавши не нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой -- а дом у него стоял в чистом поле невидимкою - и привязал лошадь подле тыну. Никак у тебя, Лукашка, кобыла была из Гукеевской орды, что не терпела на себе в стойле недоузда: бывало, как ни пригонишь на нее оброть, как ни подтянешь его пряжкой, она дотолечешется, доколе не скинет его с головы долой. Кузя, бесталанный у нее, знать, заострился, только что Будунтай в избу, а он ну чесаться щекою, задрав голову кверху, - задел недоуздкой за кол плетня, да я стащил его долой с головы через уши.

Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха: Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарем и соскочил в воду. Будунтай, таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукою зубастой надел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной княжны Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карих очей да сурменных бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что названный гость хохотал, и кашлял, и плакал, и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилась, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опаматовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик

и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался калеными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав все, что захватили в лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались, это были раскаленные ядрышки, и барышни наши пообжигали себе пальчики.

- А я бы рукавицы надел да подобрал, - сказал косолапый Терешка.

- Знать, ты умен чужим умом; ты и в Киев дойдешь, коли люди дорогу укажут, - отвечал сват, - а сам ты, брат, и лапы обжегши, не очень бы догадался, как управиться: чай, стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко да испросила позволение любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилося, рассыпалось - и казак, молодецкая душа, Кузя бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слышал разговоров его; княжна, однако же, вышла к бравому столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сего дня-де, наверное, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища. Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла икотка после вчерашней щекотки да хохотни, когда пришел, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком, то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо: "Нам чужое добро таить, дескать, не идет". Княжна отвечала, что не смеет послушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть-де не прогневается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: "Кузя, где ты?" - да за словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже поучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой да им и прикрыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: "А я здесь!" - и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налету - только шикнул крыльями по воздуху, - грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным ногтем левый бок да черкнул по левому крылу, помял и поломал все перья правильные; упал камнем петух замертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз по реке, по зеленой воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром, оно и запарусило туда ж по пути, вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным теченьем в заводи, - там, сказывают, сомина, чертова образина, им было подавился, да нет, справился, проглотил; не подавится он, чай, и самим сатаной, не токма конем его подседельным.

Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на нее ясными, разумными очами. В это самое время черный петух испустил дыхание свое, а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча перед княжною: перекинулся молодцом молодецким. Со смертью Будунтая Кузя лишился. правда, силы и умения перекидываться и принимать иной образ, да и не тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с супругою своею, бывшею княжною Милоликою, вскоре наследовал он престол царский, жил да княжил, правил да рядил, солоно ел, да кисло пил, стариков своих, гусяров, поил да кормил, а Терешке косолапому велел братчиной да складчиной насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!

СКАЗКА О ГЕОРГИИ ХРАБРОМ И О ВОЛКЕ¹⁰[*]

¹⁰ Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга, (Прим. автора.)

Сказка наша гласит о дивном и древнем побыте времен первородных: о том, что деялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и птица, как переселенцы, первородны и новозданцы, как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку, ни складу, ни ладу в быту своем; не обжились еще ни с людьми, ни с местом, ни с житьем-бытьем, ни сами промеж собой, не знали порядка и начальства, говорили кто по-татарски, кто по-калмыцки и не добились еще толку, кому и кого глотать и кому с кем в миру и в ладах односумом жить; кому с кем знаться или не знаться, кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным.

Серый волк, по-тогдашнему бирюк, обмогавшись натошак голодухою никак сутки трои, в чаянии фирмана, разрешающего и ему, грешному, скоромный, стол, побрел наконец на мирскую сходку, где, как прослышал он мельком от бежавшей оттуда мимо логва его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храбрый правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого.

Пришел серый на вече; стал поодаль, поглядел. присел на задние лапы по-собачьи и опять поглядел, прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и поворотил оглобли назад. "Тут не добьешься и толку, - подумал он про себя, - крику и шуму довольно; а что дальше - не знаю. Чем затесываться среди белого дня в эту толпу, отару, ватагу, табун, гурт, стаю, стадо - в это шумливое и крикливое стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвосяи. Я не дурак; хоть и знаю, что и мне, наряду со всеми, сказано: век живи, век учись, а умри дураком; так по крайности до поры до времени, поколе господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня - бармоймин. не пойду". Итак, он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь, и серый смекнул и догадался, что эдак сыт не будешь. "Совсем курсак пропал, - ворчал он про себя, - животы хоть уздечки вяжи, а поашать нечего!" Что станешь делать: вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть, - очи у него загорелись в теми ночной, словно свечи; подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почувал живность. Но, как это была только первая попытка серого промыслить самоучкою кус на свой пай, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал: "Что-то больно сладкое!"

Он заполз на первый раз в стадо сайгаков; а как и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученых, а сайгаки сердечные о ту пору были посмирней нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим бедняжкам кому колено, кому бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влево да подняли тревогу; кто живой да с ногами был, все сбежались, звери и птицы налицо, а рыбы, по неподручности сухопутного перехода, послали от себя послов, трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось и без них. И с той-то поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о ту пору был порядок и расправа и вина без наказания не проходила: всякая вина виновата. "

Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнею четвертью третьего сайгака. Он, зная, себе на уме; думает: запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш о ту пору, как и ныне, шутить не любил. Но ему не ладно отозвалась эта первая попытка: дело новое, дело непривычное; ныне шкуру снять с сайгака не диковинка; а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули, на такую беду небывалую глядячи; один только молодой лошак, вчерашнего помету, стоял и глядел на изуродованных собратьев своих, что гусь на вечернюю зарницу. Но мир присудил по-своему: костоправ-медведь осмотрел раненых, повилянул им изломанные шейки да ножки, повиправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки: "Неладно эдак-то делать; эдак что же пути будет? Руки-ноги выломил, а которому и вовсе карачун задал - это дело неладно?" Между тем бабы сошлись и стали

голосить по покойникам: "Ах ты мой такой-сякой, сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам, сердечным, кто нам будет воду возить, кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?" Наконец принялись люди и за серого: "Кто он, греховодник? Подайте-ка его сюда!" Он бы за тем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке, причем мишка с отборным товарищем исправляли должность ката и, присев на корточки, надев рукавицы и засучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно сто один по приговору, так что на сером тулуп гора-горой вздулся, - а на нем шкура, правда, и не черного соболя, да своя, - ну, это бы. говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков, а на спрос: "Чем ему кормиться?" - не дали ни ответу, ни привету; кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. Живи-де смирно, тихо. честно, не обижай никого. так будет лучше. Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами, и спрашивал: "Что же прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина да обеда, да хоть в неделю раз накормите: неужто круглый год скормного куска в рот не брать?" Но никто на это ему не отвечал, и сходка по окончании секуции на том и кончилась; каждый побрел восвояси, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым, приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь недотыка, поджав хвост и повесив голову, и глядел на недоглоданные копытца, рожки и косточки.

По этой мирской сходке видим мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить кой-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских - словом, сделал все, как быть следно и должно.

"Эдак неладно, - сказал серый, покачивая головой на повислой шее, - совсем яман булыр, будет плохо. Да на что же меня, грешного, с этими зубами на свет посадили?" Сам вздохнул, отряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго: "Пусть-де сам положит какое ни есть решение, ему должно быть известно об этом; пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себе по зубам не подберу".

"Георгий! - сказал он, присев перед витязем и наклонив униженно неповоротливую, да покорную шею свою. - Георгий, пришла мая твая просить, дело наша вот какой: мая ашать нада, курсак совсем пропал, а никто не дает; на что же, - продолжал он, - дал ты мне зубы, да когти, да пасть широкою, на что их дал мне, и еще вдобавок большой мясной курсак, укладистое брюхо? Ему порошний жить не можно; прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить; не то возьми да девай куда знаешь; мне, признаться, что впредь будет, а поколе житье не находка. Я вчера наелся, Георгий, и теперь до четверга потерпеть можно; а там, воля твоя, прикажи меня кормить!"

Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска, и Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил его к сотнику: "Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит". - "Ну вот эдак бы давно, - сказал серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота. - Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коли б кто посулил мне говядинки: куй-иты. сухыр-иты, баранина ль, говядина ль, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, махан, мясное".

Он подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распорядок, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его. "Стань вот здесь, - сказал бык, - да повернись ко мне боком". Серый стал. Бык, задрав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя. "Сыт, что ли?" спросил он, когда серый наш, перевернувшись на лету раза три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом. У серого отнялся язык; он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях. У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовского колтуна.

Серый добрел кой-как до логва своего, прилег и лежал, обмогался да облизывался трои сутки, и то насилу отдохнул. Обругав мошенником и быка и Георгия, пошел он, однако же, опять ис-

кать суда и расправы.

"Ну, дядя Георгий, - сказал он, заставши этого опять за делом, - спасибо тебе! Я после закуски твоей насилу выходился!" - "А что, - спросил Георгий, нешто бык не дает хлеба?" - "Какого хлеба? - отозвался серый. - Бойся бога, дядя; у нас, когда вставлял ты мне эту скулу да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное!" - "Ну а что ж, бык не дает?" - "Да, не дает!" - "Ну, - продолжал Георгий, - ступай же ты к тарпану, к лошади, она даст". Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.

Серый оглянулся; косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться, не только скоромное слово вымолвить, как жеребец, наострив уши, заржал, наскочил на него и, не выждав от серого ни "здравствуй", ни "прощай", махнул по нем, здорово живешь, задними ногами; да так, слышь, что кабы тот не успел присесть да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами; еще, спасибо, не кован был жеребец о ту пору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же к Георгию Храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним, с серым, обходится, да сам бы уж и приказал туру или гнедому, тарпану ли его накормить. "Видишь, - говорил он, - видишь, что сделал со мной жеребец этот при тебе, в глазах твоих и при ясном лице твоём; благо, что сам ты видел, а то бы, чай, опять не поверил!" Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не дает покою.

"Все люди как люди, - говорил он, - один ты шайтан; пристаёт, что с ножом к горлу, подай да подай; поди, говорят тебе, да попроси из чести, смирно, чинно; да не ходи эдаким сорванцом, забиякою; погляди-ка на себя, на кого ты похож? Чего косишься исподлобья да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник; не мудрено, что тебя и честят по заслугам. Нешто люди эдак ходят? Поди к архару, к дикому барану, да попроси чество, так он накормит тебя, да и отвяжись от меня, не приставай, что больной к подлекарю".

Серый пошел, прежде всего скупался, постынул зубами с шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываясь уже наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом, задом в чистое поле. Волк стал, повесил хвост и голову, наострил ухо и распустил губы; баран разогнался позадь его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену; волк наш полетел под гору в овраг и упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что жернов на поставе, в ушах зазвенело и на сердце что-то налегло горой каменной: тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, очнувшись просидел да прокашлял до рассвета, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах либо угорелый. Как он тужил, как он охал, как бранился и плакал, и клял божий свет, и жалобна завывал, и глаза утирал, как наконец вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к храброму Георгию, всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыкком бок. Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные, - серый со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков зализал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем однако же, чтобы съесть его и самого, коли-де и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скоромного стола. "Еще и грамоты не знают, - подумал серый про себя. - и переписка не завелась, а какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а что бы езде было, кабы далось им это письмо?"

Серый пошел и попал в добрый час; Георгий Храбрый был и весел, и в духе, и на безделье; он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. "Поди, - говорил он, - поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетинь шерстя по хребту, да не гляди таким зверем". - "Ох, дядя, - отвечал волк, - мне ли щетиниться; Опаршивел я, чай, с голоду, так и шерсть на мне встала; бог тебе судья, коли еще обманешь!" - "Поди же, поди, - молвил опять Георгий, - люди - народ добрый, сердобольный и смышленный, они не только накормят тебя и напоят, а научат еще, как и где и чего промышлять вперед".

Серый на чужом пиру с похмелья, веселого послушав, да не весел стал. Ему что-то уж плохо верилось; боялся он, чтобы краснобай Георгий опять его не надул, да уж делать было нечего: голод морит, по свету гонит; хлеб за брюхом не ходит; видно, брюху идти за хлебом.

Добежав до пригорода, серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай ваш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор, вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, оробел и струсил было сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод знай поет свое да свое, серый пустился на авось: он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел; сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват; что и рад бы не грешить, да курсак донимает; что Георгий Храбрый водил его о ею пору в дураках, да наконец смиловался, видно, над ним и велел идти к людям, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски, а случившийся тут рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто затесался в казармы, на полковой двор, и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили; хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевши, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху, на него глядя. Наконец все ребята присудили одного из своих, кривого Тараса, который состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд-дурачка, присудили его волку на снесь, на потраву, и начали с хохотом усыкать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но серый наш не любил, да и не умел шутить: он зверем лютым кинулся на кривого зауряд-чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщик, как помолодцеватее прочих, на печь; и бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не поплатился малоумною головошкой своей. Он взмолился, однако же, серому из-под него и просил пощады. "Много ли тебе прибудет, - говорил он, - коли ты меня теперь съешь? Не говоря уже о том, что во мне, кроме костей да сухожилия, ничего нет, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много что двое; да коли и с казенной амуницией совсем проглотить, так будет не подавишься, и то не боле как на три дня тебе станет; пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как подобру-поздорову изо дня в день поживляться можно; я сделаю из тебя такого молодца, что любо да два, что всякая живность и скоромь сама тебе на курсак пойдет, только рот разевай пошире!"

"За этим дело не станет, - подумал волк, - только бы ты правду говорил. Пожалуй; господь с тобой, я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку? закройщиком быть не хочу, да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого".

Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке проявилась шкура собачья; каков же он до этого случая был собою - не знаем, а сказывают, что был страшный.

"Вот тебе и вся недолга, - сказал Тараска, закрепив и откусивши нитку, вот тебе совсем Максим и шапка с ним! Теперь ты не чучело и не пугало, а молодец хоть куда; теперь никто тебя не станет бояться, малый и великий будут с тобой запанибрата жить, а выйдешь в лес да разинешь пасть свою пошире, так не токма глухарь - баран целиком и живьем полезет!" - "Не тесно ли будет?" спросил серый, пожимаясь в новом кафтане своем. "Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на такой фасон, - отвечал Тараска косою, - шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врознь не расходились, а на тебя я потрафил, кажись, как раз рихтиг; угадал молодецки и пригнал на щипок, оглянись хоть сам!" Серый наш уж хотел было сказать: "Спасибо", - да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавков, сперва смех да хохот, а там уж говорят: "Да чего ж мы стоим, ребята? Валяй его!" И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить серого в чужом нагольном тулупе; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянут, спереди стянут, посерединке перехвачен; пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кой-как уплеся да ушел, хоть и с помятыми боками, да по крайности с головой; а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно. Он стал теперь ни зверем, ни со-

бакой; спеси да храбрости с него посбили, а ремесла не дали; кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душил где и чем попало; а ему в чужих шароварах плохая расправа; не догонит часом и барана, а сайгак и куйрука понюхать не даст; а что хуже всего - от собак житья нет. Они слышат от него и волчий дух и свой; да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам и по долам, чуют, где бы ни засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой, и бедному голодаю нашему, серому, нет ни житья, ни бытья, а пробивается да поколачивается он кой-как, по миру слоняясь; то тут, то там урвет скоромный кус либо клочок - и жив, поколе шкуры где-нибудь не сымут; да уж зато и сам он теперь к Георгию Храброму ни ногой. "Полно, говорит, пой песни свои про честь да про совесть кому знаешь; водил ты меня, да уж больше не проведешь". Серый никого над собою знать не хочет; всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором, мошенником и думает про себя: "Проклинал я вас, кляните ж и вы меня; а на расправу вы меня до дня Страшного суда не притянете; там что будет - не знаю, да и знать не хочу; знаю только, что до того времени с голоду не околею".

С этой-то поры, с этого случая у нашего серого, сказывают, и шея стала кол колом: не гнется и не ворочается; оттого что затянута в чужой воротник.

СКАЗКА О БАРАНАХ[*] (Восточная сказка)

Калиф сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем в зубах; длинный чубук, как боровок, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал, кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжных ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамора; небольшой серебристый водомет посередине; усыпительный однообразный говор бьющей и падающей струи, казалось, заботливо служивал калифу, напевая ему: покойной ночи.

Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастьем народа, он пускал клубы дыма то в уст, то в бороду, и хмурил брови. Ночь наступила, а калиф и не думал еще о нынешней своей избраннице гарема, и старый беззубый цербер, неусыпной страж красоты и молодости, дряхлый эфиоп, не переступал еще с обычным зовом заветного порога, не растворял широкого раструба безобразных уст своих для произнесения благозвучного имени одного из прелестнейших существ в мире.

Калиф тихо произнес: - "Мелек!" - и раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь. Калиф, молча и не покидая трубки, подал пальцем едва заметный знак, и Мелек стоял уже перед повелителем своим с огромным плащом простой бурой ткани и с белой чалмой, без всяких украшений, в руках. Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.

Дома в столице калифа были все такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать все, что в доме Говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.

"Судья, казы, неумолим", - жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь. "Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу. О, великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!"

Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. "Казы сидит один на судилище своем - размышлял калиф, - он делает, что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его; надобно поставить и сбоку, рядом с ним, наблюдателя,

который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно".

Сказано - сделано; калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых мужей; поставил знаменитого умму, с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды. - И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману калифскому; и свидетель калифский, пристав правды, стоял и доносил каждодневно: все благополучно.

"Каково же идут теперь дела наши?" - спросил калиф однажды у пристава своего, "творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?"

- Благоденствует, великий государь, - отвечал тот, - и суд, и правда, и милость творится, нет бога кроме бога и Мохаммед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученные палящим зноем, обнаженные главы народа твоего; живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание древа, коего цвет есть благодарность, признательность народа, а плод - благоденствие его, устроенное на незыблемых основаниях на почве правды и милости.

Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате, перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватую; а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел, однако же, научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.

- Мелек! - произнес калиф, и Мелек стоял перед ним, в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.

- Удостою подлую речь раба твоего, - сказал Мелек, - удостою, о, великий калиф, не края священного уха твоего, а только праха, попираемого благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидеть здесь, в покое.

- Говори, - отвечал калиф.

- О, великий государь, голос один: народ, верный народ твой вопиет под беззащитным гнетом. Когда был казы один, тогда была у него и одна только, собственная своя, голова на плечах; она одна отвечала, и он ее берег. Ныне у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они разделили страх на четыре части и на каждого пришлось по четвертой доле. Мало было целого, теперь еще стало меньше. Одного волка, великий государь, кой-как насытить можно, если иногда и хватит за живое, - стаи собак не насытишь, не станет мяса на костях.

Калиф призадумался, смолчал, насупил брови, и чело его сокрылось в непроницаемом облаке дыма. Потом янтарь упал на колени. Калиф долго в задумчивости перебирал пахучие четки свои, кивая медленно головою.

"Меня называют самовластным, - подумал он, - но ни власти, ни воли у меня нет. Голова каждого из негодяев этих, конечно, в моих руках; но, отрубивши человеку голову, сократишь его, а нравственные качества его не изменишь. Основать добро и благо, упрочить счастье и спокойствие каждого не в устах раболепных блюдолизов моих, а на самом деле, - это труднее, чем пустить в свет человека без головы. Перевешать подданных моих гораздо легче, чем сделать их честными людьми; попытаюсь однако же; надобно ограничить еще более самоуправство, затруднить подкуп раздроблением дел, по предметам, по роду их и другим отношениям, на большее число лиц, мест и степеней; одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты.

И сделалось все по воле калифа: где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян и судят и рядят дружно. Все благополучно.

Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство; считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды - и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате его такую могучую опору, такой многочисленный оплот против зла и неправды.

- Еще ли не будут счастливы верные рабы мои, - сказал он, - ужели они не благоденствуют

теперь, когда я оградил и собственность и личность каждого фаудтами, то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зеркало правосудия от туску и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его; я вижу: зеркало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприяло их".

Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень, опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц; часто и прилежно калиф прикладывал чуткое ухо свое к углым жилищам верноподданных - и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.

- Растолкуй мне, Мелек, - сказал калиф в недоумении и гневном негодовании, - растолкуй мне, что это значит? Я не верю ушам своим; быть не может!

- Государь, - отвечал Мелек, - я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощущаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита - он жил много, видал много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе все.

- Позови.

Хуршит вошел. Хуршит из черни, из толпы, добывающий себе насущное пропитание кровным потом.

- Хуршит, что скажешь?

- Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.

- Скажи мне прямо, смело, - но говори правду - когда было лучше: теперь или прежде?

- Государь, - сказал Хуршит, после глубокого вздоха: - при отце твоём было тяжело. Я был тогда овчарником, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.

- А потом? - спросил калиф.

- А потом, сударь, стало еще тяжелее: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.

- Ну, а теперь, говори!

- А теперь, государь, - сказал Хуршит, весело улыбаясь, - слава богу, совсем легко!

- Как так? - вскричал обрадованный калиф. Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:

- Гуртом гоняем.